

Содержание

<i>От редактора</i>	7
---------------------------	---

Николай Гоголь

Перевод Е. Голышевой

под ред. В. Голышева и А. Бабикова

1. Его смерть и его молодость	21
2. Государственный призрак	59
3. Наш господин Чичиков	88
4. Учитель и поводырь	146
5. Апофеоз личины	175
6. Комментарии	190

Н.В. Гоголь. Хронология <i>Перевод А. Бабикова</i>	195
--	-----

Указатель <i>Перевод А. Бабикова</i>	205
--	-----

<i>Комментарии редактора</i>	213
------------------------------------	-----

Приложение

I. М. М. Карпович — В. В. Набокову (1943)	229
II. М. А. Алданов — В. В. Набокову (1944)	231
III. Аннотация к первому изданию (1944) <i>Перевод А. Бабикова</i>	234
IV. Книга Набокова о Гоголе (рецензия Г. П. Федотова, 1944)	235
V. Книга о Гоголе... (рецензия М. Л. Слонима, 1944)	238
VI. В. Набоков. Предисловие к «Повестям» Н. В. Гоголя (Нью-Йорк, 1952)	243

1. Его смерть и его молодость

1

Николай Гоголь — самый необычный поэт прозы, каких когда-либо рождала Россия, — умер в Москве, в четверг, около восьми часов утра, 4 марта 1852 года. Он не дожил до сорока трех лет. Однако, если вспомнить, какая до смешного короткая жизнь была уделом других великих русских писателей того поразительного поколения, это был вполне зрелый возраст. Крайнее физическое истощение в результате голодовки (которую он объявил в припадке черной меланхолии, желая побороть дьявола) вызвало острейшую анемию головного мозга (вместе, по-видимому, с гастритом на почве истощения), а лечение, которому его подвергли — мощные слабительные и кровопускания, — ускорило смертельный исход: организм больного был и без того подорван малярией и недоеданием.

Парочка чертовски энергичных врачей, которые прилежно лечили его, словно он был просто помешанным (несмотря на тревогу более умных,

но менее деятельных коллег), пыталась добиться перелома в душевной болезни пациента, не заботясь о том, чтобы укрепить его ослабленный организм. Лет за пятнадцать до этого медики лечили Пушкина, раненного в живот, как ребенка, страдающего запорами. В ту пору еще верховодили посредственные немецкие и французские лекари, а замечательная школа великих русских медиков только зачиналась.

Ученые мужи, толпящиеся вокруг «мнимого больного» со своей кухонной латынью и гигантскими клистирами, перестают смешить, когда Мольер вдруг выхаркивает предсмертную кровь на оживленной сцене. С ужасом читаешь, до чего нелепо и жестоко обходились лекари с жалким, бессильным телом Гоголя, хоть он молил только об одном: чтобы его оставили в покое. С полным непониманием симптомов болезни и явно предвосхищая методы Шарко, доктор Овер (Auvers или Hovert*) погружал больного в теплую ванну, там ему поливали голову холодной водой, после чего укладывали его в постель с полудюжиной жирных пиявок на носу. Гоголь стонал, плакал, слабо сопротивлялся, когда его тощее тело (можно было через живот прощупать позвоночник) относили в глубокую деревянную бадью; он дрожал, лежа голый в кровати, и умолял снять пиявок, — они свисали у него с носа и попадали в рот. «Снимите пиявки, под-

* Набоков обыгрывает значение *англ. hover* — колебаться, мешкать, топтаться на месте (в нерешительности). (Здесь и далее, если не указано иное, — прим. ред. настоящего издания.)

нимите пиявки!» — просил он, судорожно сисясь их смахнуть, так что за руки его пришлось держать здоровенному помощнику тучного Овера (Auvert или Hauvers).

И хоть картина эта неприглядна и бьет на жалость, что мне всегда претило, я вынужден ее описать, чтобы вы почувствовали до странности телесный характер гоголевского гения. Живот — предмет обожания в его рассказах, а нос в них — герой-любовник. Желудок всегда был самым знатным внутренним органом писателя, но теперь от этого желудка, в сущности, ничего не осталось, а с ноздрей свисали черви. За несколько месяцев перед смертью он так измучил себя голодом, что желудок напрочь потерял вместительность, которой прежде славился, ибо никто не всасывал столько макарон и не съедал столько вареников с вишнями, сколько этот худой малорослый человек (вспомним «небольшие брюшки», которыми он наградил своих щуплых Добчинского и Бобчинского). Его большой и острый нос был так длинен и подвижен, что в молодости (изображая в качестве любителя нечто вроде «человека-змеи») он умел пренеприятно доставать его кончиком нижнюю губу; нос был самой чуткой и приметной чертой его внешности. Он был таким длинным и острым, что умел самостоятельно, без помощи пальцев, проникать в любую, даже самую маленькую табакерку, если, конечно, щелчком не отваживали незваного гостя (о чем Гоголь игриво сообщает в письме одной молодой даме). Дальше мы увидим, как нос лейтмоти-

вом проходит через его сочинения: трудно найти другого писателя, который с таким смаком описывал бы запахи, чиханье и храп. То один, то другой герой появляется на сцене, так сказать везя свой нос в тачке или въезжая с ним, как незнакомец в повести Слокенбергия из «Жизни и мнений Тристрама Шенди» Стерна. Нюханье табака превращается в целую оргию. Знакомство с Чичиковым в «Мертвых душах» сопровождается трубным гласом, который он издает, сморкаясь. Из носов течет, носы дергаются, с носами любовно или неучтиво обращаются: пьяный *пытается отпилить* другому нос; обитатели Луны (как обнаруживает сумасшедший) — Носы.

Обостренное ощущение носа в конце концов вылилось в повесть «Нос» — поистине гимн этому органу. Фрейдист мог бы утверждать, что в перевернутом мире Гоголя человеческие существа поставлены вверх ногами (в 1841 году Гоголь хладнокровно заверял, будто консилиум парижских врачей установил, что его желудок расположен вверх тормашками), и поэтому роль носа, очевидно, выполняет другой орган, и наоборот. Его ли фантазия сотворила нос, или нос разбудил фантазию — значения не имеет. Я считаю, разумней забыть о том, что чрезмерный интерес Гоголя к носу мог быть вызван ненормальной длиной собственного носа, и рассматривать его одержимость запахами — и даже его собственный нос — как литературный прием, свойственный грубому карнавальному юмору вообще и русским шуткам про нос в частности. Носы нас

и возносят, и поносят. Знаменитый гимн носу в «Сирано де Бержерак» Ростана — ничто по сравнению с сотнями русских пословиц и поговорок о носе. Мы его вешаем в унынии, задираем от успеха, советуем при плохой памяти сделать на нем зарубку, и его вам утирает победитель. Его используют как меру времени, говоря о каком-нибудь грядущем и более или менее опасном событии. Мы чаще, чем любой другой народ, говорим, что водим кого-то за нос или кого-то с ним оставляем. Сонный человек «клюет» им, вместо того чтобы кивать головой. Большой нос, говорят, — через Волгу мост или — сто лет рос. В носу свербит к радостной вести, и ежели на кончике вскочит прыщ, то — вино пить. Писатель, который мельком сообщит, что кому-то муха села на нос, почитается в России юмористом. В ранних сочинениях Гоголь не раздумывая пользовался этим немудреным приемом, но в более зрелые годы сообщал ему особый оттенок, свойственный его причудливому гению. Надо иметь в виду, что нос *как таковой* с самого начала казался ему чем-то комическим (как, впрочем, и любому русскому), чем-то отдельным, чем-то не совсем присущим его обладателю и в то же время (тут мне приходится сделать уступку фрейдистам) чем-то сугубо, хотя и безобразно мужественным. Есть что-то почти неприятное в том, как Гоголь, описывая хорошенькую девушку, акцентирует внимание на ее гладком, как яйцо, лице.

Надо признать, что длинный, чувствительный нос Гоголя открыл в литературе новые запахи (что привело к новым острым переживаниям). Как гла-

сит русская пословица: «Тому виднее, у кого нос длиннее», а Гоголь видел ноздрями. Орган, который в его юношеских сочинениях был всего-навсего карнавальной принадлежностью, взятой напрокат из дешевой лавочки готового платья, именуемой фольклором, стал в расцвете его гения самым лучшим его союзником. Когда он погубил этот гений, пытаясь стать проповедником, он потерял и свой нос так же, как его потерял майор Ковалев.

Вот почему есть что-то крайне символическое в пронзительной сцене (описанной очевидцем), в которой умирающий тщетно пытался скинуть отвратительные черные гроздья кольчатых червей, присосавшихся к его ноздрям. Мы можем вообразить, что он чувствовал, если вспомним, что всю жизнь его особенно донимало отвращение ко всему слизистому, ползучему, увертливому, причем это отвращение имело даже религиозную подоплеку. До сих пор еще не составлено научное описание разновидностей чорта, нет географии его расселения; здесь можно было бы лишь кратко перечислить русские породы. В своей незрелой изгибчивой форме, в какой он в основном являлся Гоголю, чорт для всякого порядочного русского — это тщедушный инородец, трясущийся, хилый бесенок с жабьей кровью, на тощих немецких, польских и французских ножках, рыскающий мелкий подлец, с чем-то невыразимо гаденьким в облике. Раздавить его — и тошно и сладостно, но его извивающаяся черная плоть до того гнусна, что никакая сила на свете не заставит сделать это голыми руками,

а доберешься до него каким-нибудь орудием — тебя так и передернет от омерзения. Выгнутая спина худой черной кошки, безвредная рептилия с пульсирующим горлом или опять же хилые конечности и бегающие глазки мелкого жулика (раз тщедушный — наверняка жулик) невыносимо раздражали Гоголя из-за сходства с чортом. То, что его дьявол был из породы мелких чертей, которые чудятся русским пьяницам, снижает пафос того религиозного подъема, который он приписывал себе и другим. На свете есть множество диковинных, но вполне безвредных божков с чешуей, когтями и даже раздвоенными копытцами, но Гоголь никогда этого не сознавал. В детстве он задушил и закопал голодную, пугливую кошку не потому, что был от природы жесток, а потому, что мягкая вертлявость бедного животного вызывала у него тошноту. Как-то вечером он рассказывал Пушкину, что самое забавное зрелище, какое ему пришлось видеть, это судорожные скачки кота по раскаленной крыше горящего дома, — и, верно, не даром: вид дьявола, пляшущего от боли посреди той стихии, в которой он привык мучить человеческие души, казался боявшемуся ада Гоголю на редкость комическим парадоксом. Когда он рвал розы в саду у Аксакова и тыльной стороны его руки коснулась холодная черная гусеница, он с воплем кинулся в дом. В Швейцарии он провел целый день, убивая ящериц, выползавших на солнечные горные тропки. Трость, которой он для этого пользовался, можно видеть на дагерротипе, снятом в Риме в 1845 году. Весьма элегантная вещица.

2

Он изображен в три четверти, — между изящно очерченных пальцев правой руки, словно писчее перо, держит эту тонкую трость с набалдашником из слоновой кости. Длинные, но тщательно причесанные волосы разделены пробором с левой стороны. Аккуратные тонкие усики обрамляют некрасивые губы. Нос большой, острый, соответствует прочим резким чертам лица. Темные тени вроде тех, что окружают глаза романтических героев старого кинематографа, придают его взгляду глубокое и несколько затравленное выражение. На нем сюртук с широкими лацканами и франтовской жилет. И если бы блеклый отпечаток прошлого мог расцвести красками, мы увидели бы бутылочно-зеленый цвет этого жилета с оранжевыми и пурпурными искрами и приятным вкраплением мелких темно-синих глазков, что в целом напоминает кожу какой-то заморской рептилии.

3

Его детство? Ничем не примечательно. Переболел обычными болезнями: корью, скарлатиной и *pueritus scribendi**. Слабое дитя, дрожащий мышонок с грязными руками, сальными локонами и гноящимся ухом. Он обжирался липкими сладо-

* Детское бумагомарание (искаж. *лат.*).

стями. Соученики брезговали дотрагиваться до его учебников. Окончив гимназию в украинском Нежине, он поехал в Санкт-Петербург искать место. Приезд в столицу был омрачен сильной простудой, которая усугубилась тем, что Гоголь отморозил нос и тот потерял всякую чувствительность. Около трехсот пятидесяти рублей были сразу же потрачены на новую одежду, во всяком случае, такую сумму он указывает в одном из почтительных писем матери. Однако, если верить легенде, которыми в более поздние годы Гоголь любил украшать свое прошлое, первое, что он сделал, приехав в столицу, был визит к Пушкину, которым он бурно восхищался, не будучи, конечно, знаком с великим поэтом лично. Великий поэт еще не вставал с постели и никого не принимал. «Бог ты мой! — воскликнул Гоголь с благоговением и сочувствием. — Верно, всю ночь работал?» — «Ну уж и работал, — фыркнул лакей Пушкина, — небось, в карты играл!»

За этим последовали не слишком настойчивые поиски службы, сопровождаемые просьбами к матери о деньгах. Он привез в Петербург несколько поэм — одна из них, длинная и туманная, звалась «Ганц* Кюхельгартен», в другой описывалась Италия:

Италия — роскошная страна!
По ней душа и стонет и тоскует;
Она вся рай, вся радости полна,
И в ней любовь роскошная веснует.

* Так! (Прим. Набокова.)

Стихи явно принадлежали перу еще «веснующего» поэта, однако кое-где попадались прекрасные строчки, такие, например, как «и путник зреть великое творенье, / Сам пламенный, из снежных стран спешит» или «луна / Глядит на мир, задумалась и слышит, / Как под веслом проговорит волна».

В поэме «Ганц Кюхельгартен» рассказывается о несколько байроническом немецком студенте; она полна причудливых образов, навеянных прилежным чтением кладбищенских немецких повестей:

Подымается протяжно
В белом саване мертвец,
Кости пыльные он важно
Отирает, молодец!

Эти неуместные восклицания объясняются тем, что природная украинская жизнерадостность Гоголя явно взяла верх над немецкой романтикой. Больше ничего о поэме не скажешь: не считая этого обаятельного покойника, она — полнейшая, беспросветная неудача. Написанная в 1827 году, поэма была опубликована в 1829-м. Гоголь, которого многие современники обвиняли в том, что он любил напускать на себя таинственность, в данном случае может быть оправдан — он не зря пугливо выглядывал из-за нелепо придуманного псевдонима В. Алов, ожидая, что же теперь будет. А было гробовое молчание, за которым последовала короткая, но убийственная отповедь в «Московском

телеграфе». Гоголь со своим верным слугой кинулись в книжные лавки, скупили все экземпляры «Ганца» и сожгли их. И вот литературная карьера Гоголя началась так же, как и окончилась около двадцати лет спустя, — аутодафе, причем в обоих случаях ему помогал покорный и ничего не понимающий крепостной.

Что восхищало его в Петербурге? Многочисленные вывески. А еще что? То, что прохожие сами с собой негромко разговаривают и жестикулируют на ходу. Читателям, которые любят такого рода сопоставления, интересно заметить, как щедро использована тема вывесок в его позднейших сочинениях, а бормочущие прохожие отозвались в образе Акакия Акакиевича из «Шинели». Подобные параллели довольно поверхностны и, пожалуй, неверны. Внешние впечатления не создают хороших писателей; хорошие писатели сами выдумывают их в молодости, а потом используют так, будто они и в самом деле существовали. Петербургские вывески конца 1820-х годов были нарисованы и многократно воспроизведены самим Гоголем в его письмах, чтобы показать матери, а может, и собственному воображению, символический образ «столицы» в отличие от «провинциальных городов», которые мать знала (где вывески, конечно, были ничуть не менее увлекательными: синие сапоги; крест-накрест положенные штуки сукна; золотые крендели и другие еще более изысканные эмблемы, которые описаны Гоголем в начале «Мертвых душ»). Символизм Го-

голя имел физиологический характер, в данном случае зрительный. Бормотание прохожих тоже было символом, в этом случае слуховым, которым он хотел передать воспаленное одиночество бедняка в благополучной толпе. Гоголь, Гоголь и больше никто, разговаривал с собой на ходу, но этому монологу вторили на разные голоса призрачные детища его воображения. Пропущенный сквозь восприятие Гоголя, Петербург приобрел ту странность, которую сохранял почти столетие; он утратил ее, перестав быть столицей империи. Главный город России был выстроен гениальным деспотом на болоте и на костях рабов, гниющих в этом болоте; тут-то и корень его странности — и его изначальный порок. Нева, затопляющая город, — это уже нечто вроде мифологического возмездия (как описал Пушкин); болотные духи пытались вернуть то, что им принадлежит, а видение их схватки с медным царем свело с ума первого из «маленьких людей» русской литературы, героя «Медного всадника». Пушкин чувствовал какой-то изъяз в Петербурге; заметил странный бледно-зеленый оттенок его неба и таинственную мощь медного царя, вздыбившего коня на зябком фоне пустынных проспектов и площадей. Но странность этого города была по-настоящему понята и передана, когда по Невскому проспекту прошел такой человек, как Гоголь. Повесть, названная именем проспекта, выявила эту причудливость с такой незабываемой силой, что и стихи Блока, и роман Андрея Белого «Петербург», написанные

на заре нашего века, кажется, лишь полное открывают город Гоголя, а не создают какой-то новый его образ. Петербург никогда не был настоящей реальностью, но ведь и сам Гоголь, Гоголь-упырь, Гоголь-чревоушатель, тоже не был до конца реален. Школьником он с болезненным упорством ходил не по той стороне улицы, по которой шли все; надевал правый башмак на левую ногу; посреди ночи кричал петухом и расставлял мебель своей комнаты по логике «Алисы в Зазеркалье». Немудрено, что Петербург обнаружил всю свою причудливость, когда по его улицам стал гулять самый причудливый человек России. Ибо таков он и есть, Петербург: смазанное отражение в зеркале, призрачная неразбериха предметов, используемых не по назначению; вещи, тем безудержнее несущиеся вспять, чем быстрее они движутся вперед; бледно-серые ночи вместо положенных черных и черные дни — «черный день» обтрепанного чиновника. Только тут может отвориться дверь частного дома и оттуда запросто выйти свинья. Только тут человек садится в экипаж, но это вовсе не тучный, хитроватый, задастый мужчина, а ваш Нос — и это и есть «перенесение значения», столь характерное для снов. Освещенное окно дома оказывается дырой в разрушенной стене. Ваша первая и единственная любовь — продажная женщина, чистота ее — миф, и вся ваша жизнь — миф. «Тротуар неся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз,

будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз» («Невский проспект»). Вот они, вывески.

Двадцатилетний художник попал как раз в тот город, который был нужен для развития его эксцентричного дарования; безработный молодой человек, дрожавший в туманном Петербурге, таком зловеще холодном и сыром по сравнению с Украиной (этим рогом изобилия, сыплющим плоды на фоне безоблачной синевы), вряд ли мог чувствовать себя счастливым. И тем не менее внезапное решение, которое он принял в начале июля 1829 года, так и не объяснено его биографами. Взяв деньги, присланные матерью совсем для другой цели, он вдруг сбежал за границу. Я могу лишь заметить, что после каждой неудачи в его литературной судьбе (а провал его жалкой поэмы был им воспринят так же болезненно, как позже критический разнос его бессмертной пьесы) он поспешно покидал город, в котором находился. Это лихорадочное бегство было лишь первой стадией той тяжелой мании преследования, которую ученые со склонностью к психиатрии усматривают в его чудовищной тяге к перемене мест. Сведения об этом первом путешествии показывают Гоголя во всей его красе — он пользуется своим даром воображения для путаного и ненужного обмана. Об этом говорят письма к матери, где рассказано о его отъезде и странствиях.